

ОБ ОГНЯХ-ПОЖАРИЩАХ,  
О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ . . .

---

Е.А.Маймин

## Сорокапятка

**П**о улицам Пскова ходит человек. Я его часто вижу. Это человек необычный, заметный, с суровыми глазами.

Позднею весною и летом на нем форменная железнодорожная фуражка. И распахнутая кожаная тужурка - тоже форменная. Только не совсем понятно, какой именно формы.

Человек ходит молча, насупившись, время от времени выкрикивая:

- А-лиманы брал-ли! Р-россия! Р-родина!

Эти слова он произносит вдохновенно, умело, артистически растягивая звуки «р» и «л». Голос его слышен далеко. Он обращает на себя внимание людей и таинственно беспокоит их.

Странное дело, он беспокоит и меня - этот голос и этот непонятный и диковатый человек. У меня своя жизнь, свои заботы и неприятности, свои болезни. И все-таки я человек благополучный. Я учитель, и у меня есть ученики. Многие люди, встречаясь со мною, раскланиваются. А иные даже улыбаются мне.

А он человек явно неблагополучный. По крайней мере, таким он сам себя видит. О нем говорят, что он был контужен на войне, и этим объясняют его странности. О нем также рассказывают, что у него не было никогда детей, а жена, ухаживавшая за ним, как за ребенком, лет десять тому назад умерла. Он жил одиноким, а недавно ушел на пенсию и сделался совсем утрюмым.

И теперь вот он целыми днями ходит по улицам и нарушает уличную тишину. Тишину многих людей. И, как я уже сказал, мою тоже.

---

*Маймин Евгений Александрович - доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР, член Союза писателей России; в Псковском пединституте работает с 1957 г.*

*В боевых действиях участвовал с начала Великой Отечественной войны на Южном, Юго-Западном, Центральном, Западном, 2 и 3 Белорусских фронтах в качестве артиллериста, пехотинца, истребителя танков, разведчика. Был трижды ранен и один раз контужен. Награжден орденом Отечественной войны I степени и десятью медалями.*

Для меня так было до нашей необыкновенной встречи и знакомства. До нашего душевного разговора. После него у нас с ним все переменялось. Вот как это было.

Был День Победы. Была солнечная, теплая, истинно праздничная погода. Было хорошо в воздухе и хорошо у меня на душе. Я стоял на автобусной остановке возле псковского почтамта. Дожидался автобуса. Куда-то мне нужно было ехать. На остановке было много народу. И незнакомого мне, и знакомого. Люди тоже дожидались своего автобуса. Автобусы в тот день шли плохо.

Вот тогда-то ко мне и подошел тот человек. Он всегда, когда встречал меня, смотрел на меня мрачно и с каким-то особенным подозрением. Теперь он оказался совсем рядом. Прямо передо мной. Он смотрел на меня, на мою палочку, и взгляд его был тяжел.

От взгляда этого мне стало вдруг не по себе. Не хотелось ждать автобуса. Хотелось поскорее уйти. Но я не мог бы себе этого позволить. Это было бы с моей стороны проявлением малодушия.

Я продолжал стоять на остановке. Так вот мы и смотрели друг на друга. Он на меня - сурово и недоверчиво. Я - стараясь показать всю свою твердость и беззлобие.

Он вглядывался в меня долго, что-то изнутри во мне разглядывая, точно выпытывая меня и испытывая. Наконец произнес:

- Позволь, гражданин хороший, вопрос тебе задать. Почему с палочкой ходишь?

- Война, - сказал я.

- Война? - повторил он и, сделав паузу, продолжал: - Сколько же ты на войне городов брал, если не секрет?

- Много брал, много и сдавал, - ответил я. - Сперва сдавал, а потом брал.

- Это ты хорошо сказал, - одобрил контуженный, все еще не смягчался глазами. - Это ты правильно сказал. Сперва сдавал, а потом брал. Все на войне было. Кем же ты был на войне, гражданин хороший? Большим начальником был?

- Большим, - сказал я. - Старшим сержантом.

Только после этих моих слов глаза его чуть потеплели.

- Л-лиманы! Р-родина! - крикнул он и продолжал, понизив голос: - Старший сержант - это важный на войне человек. Это большой начальник. Где же ты служил на войне, гражданин распрекрасный?

- В разных родах войска служил.

- А конкретно, если не секрет?

- В танковых частях служил. В пехоте тоже был. В морской пехоте.

- Пол-лундра! - крикнул контуженный и спросил: - А где еще бывал?

- Командиром сорокапятки был, в противотанковой артиллерии.

- Что? - как-то восторженно спросил он, весь сразу переменявшись. - Что ты сказал?

Сразу переменялось его лицо. Из сурового оно стало мягким, совсем размягченным. Оно точно потекло, повисло. Помягчели и повисли глаза его, щеки, губы.

- Что ты сказал? - вскрикнул он еще раз. - Сорокапятка? Повтори, гражданин мой милый!

- Сорокапятка, - повторил я. - Прямой наводкой по немецким танкам и пехоте!

На глазах у контуженного показались слезы:

- Что же ты сразу не сказал? Друг ты мой дорогой! Да ты же!... Да ведь это же смерть! Р-россия! Р-родина! Да ведь сорокапятка - верная смерть!

Он заплакал. Плача, он все время повторял:

- Сорокапятка - это смерть. Знаю, хорошо знаю. Смерть и гибель. - Он хватал меня за рукав, тряс меня и плакал все громче, навзрыд!

- Сорокапятка - это такое! Да кто ж этого не знает! Кореш ты мой милый!

На нас смотрели на остановке стоящие. На меня с особым интересом смотрели. Не могли понять, с кем это я и почему.

А мне уже не было беспокойно с этим контуженным человеком. Мне хотелось с ним говорить. Я спросил его, спросил просто так, для порядка, ибо знал, что он ответит:

- А вы тоже воевали на сорокапятке?

- Как же, как же! О чем речь. Конечно, друг мой. Также был. Заряжающим. Замковым. Р-родину защищал. А-лиманы брал. Р-россия!

Знакомые на остановке все больше мне удивлялись. Меня раньше никогда таким не видели. Таким возбужденным. Так громко разговаривающим.

Меня же начинало удивлять их удивление и их любопытство. Мне вдруг захотелось быть только с ним. С моим неожиданным товарищем и другом. Без зрителей. Без свидетелей.

Я слегка потянул его за кожаную форменную тужурку. Я уже забыл, что мне куда-то нужно было ехать. Я приглашал его без слов идти прочь от остановки. И он понял. Он пошел за мной.

Мы ушли с ним совсем недалеко. Пересекли площадь, на которую выходил почтамт. Зашли в скверик. Сели на скамейку. Сели уединенно. В тени. Под большим каштановым деревом.

И стали разговаривать. Вспоминать. Разговаривать и вспоминать без конца.

- Ты помнишь, - спросил он меня, - как нашу сорокапятку солдаты называли?

- Помню, - сказал я. - «Прощай, родина»

- «Прощай, родина», правильно, - обрадовался он. - И ведь почему так называли, кореш мой дорогой? Потому что сорокапятки - это смерть. Ты в какой конкретно части служил?

- В отдельном истребительном противотанковом дивизионе сто сорок восьмой стрелковой бригады. В Тридцать третьей армии.

- Точно, - подтвердил он. - О тридцать третьей армии я слышал. В сорок первом ею командовал генерал Ефремов. Знаменитый генерал. И то, что дивизион ваш истребительным назывался, это тоже точно. И мой так же назывался. Истребительный - это, дружок, самая что ни на есть высокая воинская категория. Нам ведь недаром за истребительные дополнительно деньги платили. Полевые платили, за пребывание на фронте, а к этому еще и истребительные. У вас сколько всего человек в расчете было?

- Семь, - говорю. - С ездовым и повозочным семь.

- И у нас семь, - говорит он. - Вместе с ездовым. Все так же. У вас, значит, пушка тоже на лошадиной тяге была? И у нас на лошадиной. Только в сорок втором мы без лошади остались. В окружении. Пушка была, а лошади не было. То ли съели лошадь, то ли просто подохла она. Конкретно не помню. В голову я контуженный. Память отшибло. Много помню, а многое совсем не помню. Пушку нашу в сорок втором мы на себе тащили. Километра два оттащишь. А потом возвращаешься. За снарядами. Ящики на себе тащишь. Тяжело. И ящики со снарядами тяжело, а пушку еще тяжелее. Дороги были, прямо скажу, хреновые. Попробуй дотащи! Грязища по колено. Места болотистые. В Калининской области мы тогда воевали.

- Нам тоже приходилось пушку на себе таскать, - вставляю я.

Но он перебивает меня. Он хочет сам рассказать. Чтобы самому рассказать, и задает мне вопрос:

- А ты помнишь, браток, как на себе пушку тащить приходилось? Конкретно помнишь? Вот послушай, как у нас все делалось. Из ремней и веревок петлю такую большую увязывали. Конец петли к пушке прицепляли, а в петлю эту сами впрягались. На шею и на плечи себе надевали. Так вот и тащили. А один из нас стрелу вперед тянул. Вроде направляющего, или, прямо скажу, рулевого. Это было самое тяжелое. Когда в петле идешь и пушку тянешь, и она тебя вроде поддерживает. Не дает упасть. А за стрелой, браток, ты сам это знаешь, совсем шатает тебя. То влево, то вправо. Идешь как пьяный. За стрелой у нас каждый ходил. В порядке обязательной очереди.

Я слушаю, и мне все так знакомо, и не надоедает слушать. Но мне не только слушать хочется, но и самому что-то важное вспомнить и рассказать. Я жду только подходящего момента, чтобы рассказать.

- Помню, говорю я, пользуясь паузой в рассказе моего нового приятеля, - как мы под Рисавой воевали. В Смоленской области. Недалеко от Ельни. В сорок третьем. В наступление ходили. Сперва пехота без нас шла, мы с пушками не успели к сроку подойти. Потом мы сами без пехоты наступали. Одни сорокапятки. Да еще петезовцы. По немецкой пехоте подкалиберными снарядами, специально для танков предназначенными, стреляли. Много нас тогда полегло. По два человека на расчет оставалось.

- Подкалиберные у нас тоже были, - радуется, перебивает мой собеседник. - Я раз подкалиберным, вместо осколочного, по фрицевскому пулеметчику ахнул. Прямым делом расстреливал нас, сволочь. Вот я и ахнул. Разбираться некогда было, каким снарядом, когда за панорамой лежал. Сам заряжал, сам и наводил. И за командира был. Да, браток. Было такое. Все было. А-лиманы у нас с тобой были. Сражения были. Смерть в лицо нам смотрела. Р-россия! Р-родина! Тебе спать на ходу приходилось? - спросил он вдруг меня.

- А как же! - отвечал я. - И не однажды. В походе спал. На самом что ни на есть ходу. Я был командиром первого орудия. Значит, шел впереди. Впереди пушки, лошади, впереди всех. Первее меня шел только командир батареи. Гляжу, он передо мной спотыкаться начал. Пройдет несколько шагов - и спотыкается. Хотя дорога была в этом месте ровная, гладкая, снежно-гладкая. Понял я: это он засыпает на ходу. А потом я и сам стал спотыкаться на ровном месте.

- Точно, - подхватывает мой приятель. - Я тоже. Тоже спал. Я за пушкой шел и за пушку держался. Держусь и сплю. Сплю и пагаю. Очень прелестно. А на привалах - зимою - мы сразу все в снег бросались. На снегу и спали. Как убитые или зарезанные. Минут по десять. Ляжешь - и тут же проваливаешься куда-то. В самую что ни на есть глубину. И никаких тебе снов и сновидений. И никакой простуды, ядрена шиш, никаких тебе ангин или гриппов.

- У нас под Рисавой, - спешу рассказать я, - мой наводчик, Сорокин фамилия, на посту спал. Около пушки, в обнимку с ней, в полутора метра от немцев. Ночью. Командир батареи пошел проверять посты, узнать, что и как. И вот спящим его и застал. Будил, будил, никак не мог добудиться. Тогда решил из орудия жакнуть. В сторону немцев. Зарядил орудие, выстрелил, тут Сорокин как вскочит. Вытаращил глаза на комбата и говорит: «Комбат, а комбат! Ты что это, с ума, что ли, сошел?» Нам сам комбат рассказывал.

Сразу как вернулся. Рассказывал и смеялся. Не мог от смеха удержаться. «Вот, - говорит, - черт-леший, аника-воин, засоня сраная, меня же и обругал!»

Мой приятель слушает меня вполуха. Тут у нас с ним почти одинаково получалось. Что-то из сказанного мною он фиксирует в своем сознании, а что-то не очень. Из моей истории о Сорокине и комбате он больше всего запомнил сорокинские слова: «С ума, что ли, сошел?» Они-то и вызвали его новое воспоминание:

- У нас тоже был такой сумасшедший офицер. Или, конкретно, просто бешеный.

- Мой командир был совсем не сумасшедший, - уточняю я. - Самый нормальный. И очень хороший человек.

- Комбат и у нас был хороший. Свой парень. А этот бешеный был заместителем командира дивизиона. Ну и хреновый человек. Капитан по званию. Дело было в сорок третьем. Шли мы вторым эшелоном, преследовали немцев. В первый месяц, как в поход отправились, - март месяц тогда только начинался - попалась нам на пути большая лужа или маленькое озеро, точно не помню. Хотели мы обойти ту лужу, а капитан не разрешил. Идите, говорит, прямо, это вам не хрен собачий, а война, закаляться надо, чтобы никаких трудностей не бояться. А у нас на ногах валенки обуты. Насквозь их промочили. А к вечеру подморозило. Наши валенки и заledenели, как деревянные стали или, например, стеклянные. Аж затрясло нас от озноба и холода. Но и тут, однако, никто из нас не заболел. Военная обстановка, браток, одно слово. Оттого и не болели. А капитан этот, я так думаю, был контра или, конкретно, диверсант. Хорошо, что его немцы скоро подбили. Ранило его. В госпиталь увезли. У вас в батарее солдату долго можно было продержаться? - спросил меня мой собеседник.

- Какое уж тут долго! Если в боях, больше месяца с нашей пушкой не провоюешь.

- Точно. Это ты правильно сказал. Я вот три раза был ранен. И еще один раз контужен. В голову, понимаешь. Полежишь после ранения в госпитале, отдохнешь маленько, подштопают тебя - и снова на передовую. Снова к своей родимой. К сорокапятке. Не к ней, конкретно, а к другой. Но все равно что к своей. Породнился я, прямо сказать, со своей пушечкой. Как сестрю стала. Со смертушкой я ближе близкого познакомился. Все время на волоске держался. Либо тебя убьют, либо ранят. Другого для нас не было. Если ранят, да не тяжело, - значит, счастливый. Счастливые мы с тобой, корешок. Живы остались! Это ведь какое счастье! Это ведь, милый мой человек, чудо расчудесное, подарочек нам неожиданный, - и контуженный снова

закричал - призывно, восторженно: - Родина! Р-россия! Л-лимааны!

А потом снизив голос: - Ты сам-то, браток, много танков подбил?

- Один подбил, - честно признался я. - Еще один - предположительно. Остался на вражеской территории, заактировать не успели.

- И я два танка подбил, - радостно сообщает мой собеседник. - Один в начале войны. Другой - перед концом. Перед последним ранением. Мало мы с тобой танков подбили. А попробуй подбей! Ты это знаешь, браток, и я знаю. Мы оба знаем, почем фунт лиха. Наград много у тебя?

- Немного. Одну - орден Отечественной войны первой степени только что получил. Как и ты, наверное. А то были медали. «За отвагу», «За боевые заслуги».

- Правильно! Правильно! - не сказал, а вскрикнул контуженный. - У меня тоже две боевые медали. Обе - «За отвагу». Много-то не получишь. Это штабным легче. А нашему брату трудно. Наш брат не успеет на одном месте освоиться - тут его и цап-царап. Как тут на него наградные листы заполнять? Бывает, и личность его как следует не запомнят. Ах, корешок мой!

И он опять крикнул: - Р-россия! Р-родина! Л-лимааны брали!

И снова, как не раз в течение разговора, заплакал:

- Смерть мы видели. Вражеские танки видели. Прямо мы с тобой в глаза войне смотрели. Как только мы живы остались?

И, неожиданно перестав плакать, повернувшись ко мне всем лицом, спросил:

- Тебя как величают, друг мой дорогой?

- Геннадием Петровичем, - ответил я.

- А меня, - сказал он, - Максимычем. Васей зовут. Василием Максимовичем. Дай обниму тебя, Петрович!

И он обнял меня, а потом встал со скамейки, вытянулся передо мной по-военному, по-военному приложил руку к своей форменной железнодорожной фуражке и торжественно сказал:

- Будем знакомы! Поздравляю тебя. Поздравляю со светлым нашим праздником Победы, Петрович!

И тогда я тоже встал. Также сказал ему добрые слова приветствия:

- Будем знакомы, Максимыч! И я поздравляю, дорогой мой дружище.